

**КОГДА-НИБУДЬ** напишут о нем так, как он этого заслуживает. Прочтет ли он те строки? Не знаю. Грустно, но такова наша жизнь, таков ее странный темный закон — людей оценивают по чести, когда они уже не раздражают тем, что еще живут на земле.

Когда-нибудь напишут о том, как совсем еще молодой актер, служивший тогда в Центральном Детском, не достигший и тридцати лет — для похи геронтократов возраст, можно сказать, дошкольный, — создал и утвердил свой театр.

В наше время спонтанного рождения студий событие это вполне рядовое, надо было работать в ту пору, чтоб оценить его значение. Ничто не могло явиться на свет без дозволения высших сил — ни мысль, ни слово, ни тем более действие. А со-творить живой организм, который с самого первого вздоха имел свою собственную позицию, отвеать ему место под небом, вырвать ему какие-то средства, а там и кров — стены и крышу, — все это смахивало на сказку, за это не только никто не взялся бы, об этом никто не дерзнул бы сказать. Нашелся, однако, один человек, и звали его Олег Ефремов.

Все, что он делал, на первый взгляд, противоречило здравому смыслу и подкрепляло расхожую истину о том, что помянутый здравый смысл — удел обывателей и мещан, однажды являются донкихоты, энтузиасты и безумцы, готовые отдать свою голову за идеал, и эта готовность — фундамент их грядущей победы. Порою эта победа гриходит, когда побе-

ского в старом восхитительном здании (кто только в нем не выступал!) открылся новый театр-студия, после недолгого скитальчества «современники» обрели гнездо, и тут процвели, прозвенели, прошли золотые ефремовские дни. Здесь и дано ему было исполнить то, для чего он родился.

Создал ли он свою эстетику? Была ли она у его театра? Я не исследователь, не теоретик и все же рискну ответить: была. Хотя, возможно, она возникла не из открытия, а из отказа (в цветаевском смысле этого слова). «Отказываюсь плыть — вниз — по течению сплыв». Но это «отказываюсь плыть» не отказ от движения, оно лишь стремится в иное русло.

«Ответ один — отказ!» Так и было. В душном обруче фарисейства жизненно важно не приручиться, не сдаться, не лгать вместе с другими. Не лгать — это было попыткой правды, в том числе и правды сценической. Бывают периоды — библейские заповеди начинают звучать как законы художества, этический пафос вдруг обретает неожиданный артистизм. «Не лги». В своих спектаклях, в ролях Ефремов упорно искал достоверности. Мне могут сказать, что цель эта скромная, что зоркость не заменяет прозрения и не возносится до него. Что ж делать, Ефремов был убежден, что гражданином си быть обязан, а ведь гражданственный реализм всегда имеет свои пределы. Быть достоверным — достойным веры, достойным зрительского доверия — это само по себе было вызовом, а наш герой по натуре своей — дуэлянт. Это теперь

## Ефремов

дителя уже нет, но это в конце концов несущественно.

С этим величественным суждением хочется, однако, поспорить.

Идеализм — высокое свойство, но — пусть это непривычно звучит — здравому смыслу он не помеха. Санчо Панса не меньший идеалист, чем рыцарь, которому он служил так преданно и так бескорыстно, — оба совпали своей неуместностью в мире, в котором им выпало жить. Дело тут сводится к вечной проблеме — соответствию идеала и времени. Ефремов и Буковский похожи — оба обладали харизмой, оба сплывали людей, однако ж как несхожи их судьбы! Первый стал лидером, второй — заключенным. Первый возник из той весны, которую называли оттепелью, и выражал собой надежду, второму выпало время заморозков, он был ответом на безнадежность. Первый при незаурядном уме сберег простодушие художника, второй был от иллюзий свободен. Первый в своих отношениях с властью выбрал игру, второй — борьбу. Один хотел выиграть, другой — победить.

При этом ошибно было бы счастье, что Ефремов в отличие от Буковского был подосознательным конформистом, склонным к сбайтальной фронде. Это не так — он был стоек и прочен, умел упрямо гнуть свою линию. Нет, просто-напросто — повторюсь — он был человеком иного времени, а кроме того, если Буковский стал политическим борцом, то он всегда оставался артистом. Как тот не мог избежать конспирации, даже отрицая ее, так он не мог дышать без арены, без публичности, без прожентора. Ставки вроде бы были неравноценны — ведь Ефремов мог потерять лишь театр, а Буковский готов был расстаться с жизнью, но и жизнь Ефремова трудно представить без подмоштов, без яркого света рампы.

Ныне, когда позади остались самые звездные часы, громкие годы того и другого, когда антеры уходят в менеджеры, а диссиденты — в мемуаристы, когда народилась новая поросль, которую равно веселят и театральные бессребренники, и героические натуры, когда обесплодилось искусство и бессмыслилась борьба, а Ефремов с Буковский поменялись — хотя бы внешне — благополучием, стоит сравнить Кембридж в Москве), было бы занятно вообразить их рядом, за почтой бутылкой, оценивающих свой крестный путь. Многие их, верно, утешит, многое, может быть, умилит, многое покажется призрачным.

Так или иначе он создал театр — сумел задурить начальству голову, прикинуться родственным, своим, талантливо сыграв племейство, словом, понравился, обаял, руководители — тоже люди. Надо еще принять в расчет Богом ниспосланный дар убеждения, Ефремов словно его излучал — взглядом, улыбой, сообщника, и прежде всего колдовским голосом. Как-то я слушал его по радио и не уставал удивляться: что за голос, какой-то в нем есть секрет, какая-то непонятная сила, не согласиться с ним невозможно. Рассказывала Галина Волчек: «Я только что закончила курс, имела легкое предложение работать в Киеве и приняла его. Но тут Ефремов сказал: «Останься. У нас обязательно будет театр». И я осталась, не понимая, зачем его слушаю, на что надеюсь». Поистине он умел убедить, он точно для этого был предназначен, когда вспоминаются его роли — первая мысль: как он убедителен! В самом деле — будто не было грани между актером и человеком.

И однажды на площади Маяков-

достоверность не доблесть — что достовернее нашей беды? — в ту пору то был глоток озона.

Весною семидесятого года Ефремову предложили возглавить маститый Художественный театр — когда-то из-под его крыла дерзкий пленец выпорхнул в мир. Ефремов без больших колебаний ответил согласием и простился со ставшим на ноги «Современником».

Что побудило протестанта и примирению со святейшей церковью? Стремление ее реформировать? Очарование академии, в котором ее ниспровергатели боялись признаться себе самим? Или тайный толос шепнул в бессоницу, что молодость его на исходе, что первая любовь иссякает, что пламя дряхлеет в том очаге, который он когда-то зажег, и надо уйти, пока не остались одни сиротские головешки? А может быть, просто езыграл курам, шальное рзбачное желание вернуться во МХАТ на белом коне? Или вдруг проснулось и сотрясло давнее сыновнее чувство? И речь тут идет не о блудном сыне, скорей — о добросердечном Яфете, который принял наготу отца. Художественный театр влчил свою беспростовную, хмурую осень, и важный официальный статус не то насильственно продлевал, не то сокращал эту скорбную жизнь.

Больше чем двадцать лет спустя, вновь думая о его решении, склоняюсь к последнему ответу. В конечном счете его поступки определяло его благородство. Кто знает Ефремова — согласится. Смеею сказать, что я из тех, кто мог узнать его на поверхность.

Ефремов поставил три мои пьесы, не все они стоили его усилий, но каждая обошлась ему дорого, за третью он сражался, как барс, — Пушкин показался властям чрезмерно взрывчатым персонажем, — война взрывается четыре года. Я уж и сам махнул рукой, однако ж не таков был Ефремов, он отстоял «Медную бабушку». А между тем, сказать откровенно, он относился к тому, что я делал, без особого энтузиазма, я не был предметом его увлечения. И суть была тут вовсе не в том, что он не хотел, не умел проигрывать — сильнее азарта и выше пристрастий была его античная верность.

Сколько же лет мы с ним не встречались? Не то семнадцать, не то восемнадцать. В сущности, эта целая жизнь — можно научиться чему-то, можно понять что-то существенное, можно даже и настрадаться — были бы только ум и душа. За эти годы можно расстаться, и оладеть, и забыть друг друга. Но мало что во мне изменилось — все то же волнение, та же нежность, когда на экране или в толпе мелькнет неожиданно предомно, словно испепеленное временем, худое мальчишеское лицо.

Что же останется на доннышке тигля, когда переплавятся наши страсти? Стареют рецензии, блекнут афиши, гложут аплодисменты и вызовы. Даже здания растворяются в воздухе — нет больше Дома на Маяковской.

Но энергия, выделенная жизнью, не испаряется, не исчезает. По знаменитому закону она перетекает в другую — действующую — энергию.

Ефремовская драма не сыграна. Зная его, не удивилось новым и резким поворотам этой уникальной судьбы. Но так или иначе, он уже выполнил то, что было ему поручено неким неведомым распорядителем. Он показал, что может свершить, даже вопреки обстоятельствам, верный призванию человек. Он убедил, что один в поле воин.

Леонид ЗОРИН